

Из статьи С. Франка «ПУШКИН И ДУХОВНЫЙ ПУТЬ РОССИИ»*

<...> едва ли не столь же всеобщим, как признание поэтического гения Пушкина, было и остается доселе — и в этом и заключается загадочность пушкинского гения — непонимание духовного мира Пушкина, равнодушие к нему или даже прямое его отвержение. Правда, неоднократно раздавались голоса, протестовавшие против такого отношения к духовному содержанию пушкинского творчества и призывавшие русское общество понять и оценить всю глубину, значительность и ценность заветов Пушкина. <...>

Упомянутое писаревское отрицание Пушкина было лишь до карикатурности резким и утрирующим выражением отношения к Пушкину, широко, едва ли не повсеместно распространенного в русском обществе и не исчезнувшего и донныне. Было, очевидно, что-то в характере гения Пушкина, в его духовном существе, что и при его жизни, и в посмертном отношении к нему обрекало его на одиночество, непризнание и отвержение со стороны русского общественного мнения, столь единодушно восхищавшегося его поэтическим гением.

Это отношение к Пушкину было, кажется, впервые отчетливо высказано Хомяковым (в письме к И. Аксакову 1859 г.): «Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам не доставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения... Оттого-то вы можете им восхищаться или можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кланяться». Если оставить в стороне явно несправедливый или, по крайней мере, односторонний упрек в «развращенности» и «слабости души» Пушкина — к тому же несущественный для общей мысли Хомякова** — то слова эти очень метко улавливают то трудноопределимое «что-то» в духе Пушкина, что отчуждало от него не только Хомякова, но и вообще последующие поколения даже лучших русских людей.

Ту же, в сущности, мысль — не в форме упрека, а на фоне как будто безграничного восхищения гением Пушкина — высказал, однако, уже Гоголь в своей едва ли и доселе не лучшей оценке Пушкина. Указав, что «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое поэт... в независимости от всего», что «одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликавшееся на всякий отдельный звук...», Гоголь соединяет с этой мыслью суждение, что в поэзии Пушкина, в отличие от всех других поэтов, не видна его личность. Его поэзия — «полный арсенал орудий поэта». «Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву: но сам поэт... на битву не вышел» (курсив наш). В самых совершенных своих произведениях Пушкин, по мнению Гоголя, «ничего не хотел сказать своему времени, никакой пользы соотечественникам не замышлял». Далее Гоголь, столь бесконечно преклонявшийся перед Пушкиным, решительно заявляет, что «нельзя служить самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не

уразумев его цели высшей и не определив в себе, зачем дано нам искусство: нельзя повторять Пушкина (курсив наш); христианским, высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт». И Гоголь пророчески предвидит, что «скорбию ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубевшие души святыню!» («В чем же, наконец, существо русской поэзии?», из «Переписки с друзьями»).

Начиная с 50-х годов XIX века мысль, высказанная Гоголем, и вместе с ней антагонизм между духом Пушкина и русским общественным мнением заострились в борьбу принципа «искусство для искусства» и в проповедь служения искусства общественным, моральным или — в лучшем случае — религиозным целям. Теперь уже нет надобности обсуждать по существу тему этого спора, так как самая формулировка его была тенденциозна и содержала искажения духа пушкинской поэзии. Пушкин никогда не проповедывал отвлеченного, самодовлеющего эстетизма и никогда не руководился им. Если он признавал, что «цель поэзии — поэзия», если поэты, по его мысли, рождены «не для житейского волненья» и «не для битв», то существо искусства он видел совсем не в одних «сладких звуках» («дорожит одними ль звуками пиит?» — риторически спрашивал он в «Альбоме Онегина»), а в сочетании «сладких звуков» с «молитвами». Поэзия была для Пушкина выражением религиозного восприятия мира, чуткого внимания к «божественному глаголу», и именно потому «прекрасное должно быть величавым». Биографически и критически с полной достоверностью установлено, что в «Пророке» Пушкин выразил свое понимание существа и назначения поэта.

Истинный смысл противоположности между Пушкиным и всем дальнейшим путем русского сознания лежит совсем в другом. Русское сознание тотчас же после Пушкина пошло — первоначально и в самых глубоких своих выражениях тоже по религиозным мотивам — по пути негодования на мировое зло, обличения зла и борьбы с ним (Гоголь, Лермонтов, Достоевский). Оно все стоит под знаком проблемы теодицеи. Оно мучится невыносимым и неразрешимым противоречием между несовершенством эмпирического мира и идеалом Божьей правды, Божьим замыслом мира. Оно все проникнуто мировой скорбью (в точном, буквальном смысле этого понятия) и духом борьбы за правду. Совсем иначе Пушкин. Пушкин, правда, ни в малейшей мере не был пантеистом; он остро ощущал «равнодушие природы» к упованиям человеческого сердца и «холодное бесчувствие» толпы, он, по собственному признанию, не верил в возможность счастья; он хорошо знал «вечные противоречия сущности» (реальности); вся его поэзия не в меньшей мере, чем у других русских поэтов и мыслителей, полна трагического мироощущения (что, именно в силу указанного непонимания Пушкина, доселе остается недостаточно оцененным). Но основная, определяющая религиозно-метафизическая установка Пушкина — иная: это установка сочувствия всему живому на земле, или, пользуясь его собственным термином,

«благоволения». «Натура Пушкина, — справедливо писал о нем кн. Вяземский, — была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования». Поэтому Пушкин действительно «на битву не вышел» — не по «слабости души» (он умел твердо отстаивать свои убеждения и был, как известно, во всех отношениях храбр почти до безумия), а потому, что позиция «битвы» не соответствовала его основной духовной установке. Поэтический гений Пушкина совпадал с духовной раскрытостью к восприятию Божественного происхождения и Божественного смысла мирового бытия. <...> С предельной четкостью этот основной принцип своего мировоззрения он выразил в заключительных словах своей оценки Радищева: «Нет убедительности в поношениях; и нет истины, где нет любви».

Можно сказать, что весь трагизм духовного пути России за сто лет, отделяющих нас от Пушкина, в конечном счете определен тем, что этот завет Пушкина был забыт и отвергнут. В оценке этого расхождения между Пушкиным и русским сознанием не будем и мы односторонними; последуем мудрости Пушкина и признаем относительную правомерность обеих противоположных установок: религиозного благословения мира и пророчески-обличительного отношения к мировому злу. В двуединстве смысла дивного русского слова «правда» (как правды-истины и правды-справедливости) заключено высшее единство этих двух установок: с одной стороны, все сущее есть в своей последней глубине образ Божьей правды, требующей от нас любви и благоволящего признания; и, с другой стороны, во всем мировом бытии должна царить только подлинная Божья правда, и нестерпимо все, что ей противоречит. Негодование на зло, его обличение, борьба с ним столь же законны и необходимы в человеческой жизни, как благостное и радостное приятие Божественного существа и смысла мира. Для оценки великого и благотворного значения пушкинской духовной установки достаточно одного: признания, что она есть необходимое условие, вне связи с которым установка борьбы и обличения выражается в чистое зло и теряет свою правомерность. Где борьба со злом не укоренена в приятии Божественного религиозного корня, там негодование, не просветленное любовью, превращается в чистую злобу и ненависть, пророческое обличение становится сатанинским бунтом против мира и — в пределе — против его Творца, и совершается таинственное и жуткое, как бы химическое превращение первоначального добра в чистое зло, в бессильную и в своем бессилии тем более жестокую потугу разрушения мира.

Это и есть итог пути, по которому пошла Россия, забывшая заветы Пушкина. Путь, по которому повели Россию такие религиозные умы, как Гоголь и Достоевский, против их воли, но с неумолимой последовательностью, привел в конечном итоге, — через это внутреннее перерождение, которое на нем почти неизбежно и действительно совершилось, — к большевизму. Впрочем, религиозный гений Достоевского сам это предвидит: при всей прикованности своего внимания к адской стихии зла, при всей мучительной заполненности своего сознания

проблемой теодицеи, Достоевский проповедовал пушкинское восхищение «клейкими весенними листочками», пушкинскую «любовь к живой жизни» и в предсмертной пророческой своей речи призывал к блюдению завета Пушкина. Но и Гоголь в своем покаянном — после выхода «Переписки с друзьями» — письме к Жуковскому признает высший, благотворный смысл завета Пушкина в словах, в которых он подвел итог своему отречению от попытки обличать и поучать мир: «Искусство есть примирение с жизнью».

Пушкинский завет примирения с жизнью, любви к жизни, в котором он, по словам того же Гоголя, явил собою образ русского человека, «каким он, может быть, будет через 200 лет», — вот чего более всего недостает нам всем — несмотря на всю законность борьбы со злом и негодование на него. Вот почему Пушкин не только в прелести своей поэзии есть и даст утешение в нашей скорби, но и в духовном своем содержании более, чем когда-либо, должен быть нашим наставником.

1937

* Эта малоизвестная газетная статья С. Франка 1937 года (не вошедшая в его книгу «Этюды о Пушкине») была обнаружена исследовательницей И. З. Сурач после того, как настоящий сборник был подготовлен к печати. Полностью статья воспроизводится в изд.: Досье: Приложение к «Литературной газете». 1990. Июнь (Мир Пушкина). — Ред.

** Замечательно, что Хомяков в этом упреке сошелся с таким своим антиподом, как Фаддей Булгарин, который тотчас после смерти Пушкина выразил его только резче и грубее: «Жаль поэта, а человек был дрянной». Известно, что таково же было мнение о Пушкине большинства сановных его современников. (Примеч. С. Франка).